

Глава XXI

Некоторые товарищи рассказали, что военное безумие в Англии было настолько всеохватывающим, что вероятность проведения моих выступлений так, как изначально было намечено, очень мала. Гарри Келли был того же мнения. «Почему бы не провести массовые антивоенные митинги?» — предложила я. Я сослалась на великолепные собрания, которые мы организовывали в Америке во время испанской войны. Время от времени со стороны властей были попытки вмешаться, и несколько лекций пришлось отменить, но в целом нам удалось довести кампанию до конца. Однако Гарри считал, что в Англии это будет невозможно. Его описания жестоких нападков на выступающих (патриотические настроения были на высоте) и митингов, которые срывали толпы патриотов, звучали обескураживающе. Он был уверен, что мне, иностранке, будет ещё опаснее говорить на тему войны. Но я в любом случае хотела попробовать. Я просто не могла находиться в Англии и молчать по этому поводу. Разве Великобритания не верит в свободу слова? «Имей в виду, — предупредил он, — не власти вмешиваются в ход митингов, как в Америке, а сама толпа: и богатые, и бедные». Тем не менее я настаивала на том, чтобы попытаться. Гарри пообещал посоветоваться с другими товарищами на этот счёт.

По приглашению Кропоткиных мы с Мэри Исаак поехали в Бромли. На этот раз миссис Кропоткина и её маленькая дочка Саша были дома. Пётр и София Григорьевна приняли нас очень сердечно. Мы обсуждали Америку, анархистское движение там и условия в Англии. Пётр приезжал в Штаты в 1898 году, но я в то время была на побережье и не смогла посетить его лекции. Однако я знала, что его тур получился очень успешным и что Кропоткин оставил о себе приятное впечатление. Собранные на его митингах деньги помогли возродить журнал *Solidarity* и вдохнуть новую жизнь в наше движение. Петру было особенно интересно послушать о моих турах по Среднему Западу и Калифорнии. «Должно быть, это прекрасное поле деятельности, — заметил он, — если ты смогла объехать одни и те же места три раза подряд». Я уверила его, что так и есть, и добавила, что главным образом моему успеху способствовала *Free Society*. «Газета действительно делает прекрасную работу, — тепло согласился он, — но она бы делала ещё больше, если бы там не отводилось столько места обсуждению отношения полов». Я не согласилась, и между нами разгорелся спор о месте проблемы полов в анархистской пропаганде. Пётр считал, что равенство женщин и мужчин не имеет отношения к вопросу пола — всё дело в мозгах. «Когда она станет интеллектуально равна ему и будет разделять его общественный идеал, — сказал он, — она будет так же свободна, как и он». Мы оба перевозбудились, и наши голоса, должно быть, звучали так, будто мы ругаемся. София, которая тихо шила платье для дочки, несколько раз пыталась направить наш разговор в более спокойное русло, но всё было напрасно. Мы с Петром расхаживали по комнате с нарастающим возбуждением, упорно отстаивая каждый свою точку зрения. Наконец я прервалась, заметив: «Ладно, дорогой товарищ, когда я достигну твоего возраста, вопросы пола, возможно, для меня будут уже не так важны. Но я живу сейчас, и это является важнейшим фактором для тысяч, даже миллионов молодых людей». Пётр остановился как вкопанный, довольная улыбка

осветила его доброе лицо. «Забавно, я об этом не думал, — ответил он. — Возможно, в конечном итоге ты и права». Он расплылся в лучезарной улыбке, а в глазах засверкали шутливые искорки.

Во время ужина я поделилась планом об организации антивоенных митингов. Пётр был даже более настойчивым, чем Гарри. Он считал, что это не обсуждается: это поставит мою жизнь под удар, более того, поскольку я русская, моя позиция по войне неблагоприятно повлияет на статус русских беженцев. «Я здесь не как русская, а как американка, — запротестовала я. — Кроме того, какое значение имеют все эти обстоятельства перед лицом такого жизненно важного вопроса, как война?» Пётр отметил, что это очень много значит для людей, которым грозила смерть или ссылка в Сибирь. Он настаивал, что Англия до сих пор остаётся единственным в Европе пристанищем для политических беженцев и что её гостеприимства не стоит лишаться из-за митингов.

Моё первое появление на публике в Лондоне, в Атенеум-Холле, было полным провалом. Я подхватила сильнейшую простуду, у меня болело горло, поэтому остальным было так же тяжело слушать меня, как мне говорить. Меня было едва слышно. Не менее мучительным было волнение от того, что меня пришли послушать самые известные русские беженцы и несколько заметных англичан. Имена этих русских для меня всегда символизировали всё героическое, что было в борьбе против царизма. Мысль об их присутствии в зале наполняла меня трепетом. Что я могла сказать таким людям и как?

Гарри Келли был председателем и не преминул начать с того, что его соратница Эмма Гольдман, которая смело встречала отряды полиции в Америке, только что ему призналась, что волнуется перед этой аудиторией. Слушатели подумали, что это хорошая шутка, и от души рассмеялись. Я была готова убить Гарри, но хорошее настроение слушателей и их очевидное желание успокоить меня немного ослабило моё нервное напряжение. Я с трудом закончила лекцию, на протяжении которой меня не покидало ощущение, что я произношу ужасную речь. Однако последующие вопросы вернули мне самообладание. Я почувствовала себя в родной стихии, и уже было не важно, кто находился в зале. Я вновь вернулась к своей обычной решительной и агрессивной манере.

Митинги в Ист-Энде прошли без сложностей. Там я была своей; я знала жизнь моих слушателей, тяжёлую и безуспешную повсюду, но особенно в Лондоне. Мне удалось найти правильные слова, чтобы до них достучаться, с ними я была самой собой. Ближайшие товарищи стали для меня тёплой и сердечной компанией. Движущей силой деятельности в Ист-Энде был Рудольф Рокер, молодой немец, представлявший собой странный феномен: он, не являясь евреем, редактировал газету на идише. Он не много общался с евреями до приезда в Англию. Чтобы лучше вписываться в деятельность в гетто, он жил среди евреев и изучал их язык. Как редактор *Arbeiter Freund* («Друг рабочего») и своими прекрасными лекциями Рудольф Рокер делал больше для революционного просвещения евреев в Англии, чем самые способные члены их собственного народа.

Тот же дух солидарности, который превалировал среди моих еврейских товарищей, главенствовал также в английских анархистских кругах, особенно в группе, которая издавала *Freedom*. Этот ежемесячник собрал вокруг себя тесный круг способных авторов и

работников, которые трудились очень согласованно. Мне было радостно увидеть, что дела идут так хорошо, встретить старых дорогих друзей и приобрести много новых.

На вечеринке у Кропоткиных я познакомилась с массой ярких людей, среди которых был Николай Чайковский¹⁰⁴. Он был гением революционного движения русской молодёжи 70-х годов, которое переродилось в известные кружки, носящие его имя. Для меня было величайшим событием встретить человека, который воплощал всё, что меня вдохновляло в освободительном движении России. Он был внушительного телосложения и обладал чертами настоящего идеалиста — такая личность могла очень легко понравиться молодым и горячим душам. На вечеринке Чайковский был окружён друзьями, но спустя время он подошёл в угол, где я сидела, и заговорил со мной. Пётр рассказал ему, что я намереваюсь изучать медицину. Ему было интересно, как я собиралась учиться и одновременно продолжать свою деятельность. Я объяснила, что планировала приехать на лето в Англию давать лекции, возможно, даже поехать в Америку; в любом случае я не думала о том, чтобы полностью забросить движение. «Если ты этого не сделаешь, — сказал он, — ты будешь плохим доктором; а если ты серьёзно настроена получить профессию, ты станешь плохой пропагандисткой. Нельзя убить двух зайцев». Он посоветовал мне ещё раз всё обдумать, прежде чем принять то решение, которое исключает возможность в дальнейшем приносить пользу движению. Его слова меня встревожили. Я была уверена, что смогу заниматься обеими вещами, если буду достаточно решительна и останусь верна своим общественным интересам. Но всё же ему удалось посеять во мне сомнения. Я задалась вопросом: действительно ли я хочу вырвать пять лет из своей жизни, чтобы получить диплом доктора?

Вскоре Гарри Келли пришёл рассказать, что некоторые товарищи согласились организовать антивоенный митинг и что они примут меры, чтобы обеспечить безопасность. Они планировали пригласить десяток мужчин из района Каннинг Таун, пригорода, известного боевым духом и силой мужчин. Они будут охранять платформу и предотвращать возможный напор ура-патриотов. Председательствовать попросят Тома Манна, лейбориста, который играл роль лидера в последней забастовке портовых рабочих. Гарри объяснил, что меня придётся тайно провести в зал, прежде чем патриотам удастся что-то сделать. Этим займётся Чайковский.



Том Манн

В назначенный день в сопровождении своего охранника, за несколько часов до того, как начала собираться толпа, я приехала в Институт Саус-Плейс. Зал заполнился очень быстро. Когда Том Манн ступил на сцену, послышалось громкое улюлюканье, которое заглушило собой аплодисменты наших друзей. Какое-то время ситуация выглядела безнадежной, но Том был опытным оратором, умеющим сдерживать толпу. Вскоре публика утихла. Однако, когда появилась я, патриоты вновь как с цепи сорвались. Несколько человек попытались взобраться на трибуну, но люди из Каннинг Тауна сдержали их. Пару минут я стояла молча, не зная, как подступить к разъяренным британцам. Я была уверена, что не смогу ничего добиться прямой и резкой манерой, которая неизменно работала с американской публикой. Нужно было что-то другое, что-то такое, что затронет их гордость. Мой приезд в 1895 году и впечатления от этого раза научили меня, что англичанин очень гордится своими традициями. «Мужчины и женщины Англии! — крикнула я посреди шума. — Я приехала сюда с твердым убеждением, что люди, чья история заряжена духом восстания и чья гениальность в любой области является путеводной звездой на мировом небосклоне, должны быть ценителями свободы и справедливости. Нет, более того, бессмертные работы Шекспира, Милтона, Байрона, Шелли и Китса, если упомянуть только величайших из целой плеяды поэтов и идеалистов вашей страны, должно быть, расширили ваши горизонты и стимулировали правильное восприятие того, что является наиболее ценным наследием поистине культурных людей; я имею в виду состязание в гостеприимстве и великодушном отношении к чужестранцам, находящимся среди вас».

В зале наступила полная тишина.

«Ваше сегодняшнее поведение едва ли подкрепляет мою веру в превосходную культуру и воспитание в вашей стране, — продолжала я. — Или это ярость войны столь легко разрушила то, что развивалось столетиями? Если всё так, то уже этого должно быть достаточно, чтобы отказаться от войны. Кто стал бы спокойно ждать, пока всё лучшее и возвышенное в людях душится прямо у него на глазах? Однозначно, это не ваш Шелли,

который воспевал свободу и восстание. Однозначно, не ваш Байрон, чья душа не могла найти покоя, когда величии Греции угрожала опасность. Не они, не они! А вы, вы, кто так быстро забывает своё прошлое, разве в вашей душе не отзываются песни ваших поэтов и мечтателей, воззвания ваших мятежников?»

Молчание продолжалось; мои слушатели, видимо, были озадачены неожиданным поворотом моей речи, поражены возвышенными выражениями и убедительными жестами. Публику поглотил мой монолог, довёл её до восторга, который в конце концов выразился бурными аплодисментами. После этого всё пошло как по маслу. Я прочла свою лекцию «Война и патриотизм» так же, как делала это в Соединённых Штатах, просто заменяя части, где говорилось о причинах испано-американских военных действий, на изложение мотивов англо-бурской войны. Я закончила пересказом изречения Карлайла о том, что война — это ссора между двумя ворами, которые сами слишком трусливы, чтобы драться, поэтому сначала убеждают парней из разных деревень надеть униформу и взять оружие, а затем направляют их друг на друга, как диких зверей.

Зал просто бесновался. Мужчины и женщины махали шляпами и до хрипоты выкрикивали похвалы. Наша резолюция, веский протест против войны, была зачитана председателем и принята с единственным голосом против. Я поклонилась в сторону несогласного и сказала: «Вот что я называю храбростью, и этот человек заслуживает нашего восхищения. Нужна большая смелость, чтобы стоять на своём, даже если ты ошибаешься. Давайте все сердечно похлопаем нашему мужественному оппоненту».

Даже охрана из Каннинг Тауна не могла больше сдерживать волнуемой толпы. Но опасность миновала. Публика сменила сильнейшую ненависть на такое же горячее обожание, стала готова защищать меня до последней капли крови. В зале заседаний Чайковский, который тоже участвовал в этом проявлении восторга, махая шляпой, как возбуждённый юнец, обнял меня, осыпая похвалой за то, как я справилась с ситуацией. «Боюсь, я была немного лицемерной», — заметила я. «Все дипломаты — лицемеры, — ответил он, — но дипломатия иногда необходима».

В моей первой почте из Америки были письма от Егора, Эда и Эрика Мортонa. Брат писал, что Эд отыскал его в день моего отплытия и умолял вернуться обратно домой, потому что не мог вынести одиночества. «Ты знаешь, дорогая Хавэлэ, мне всегда нравился Эд, — писал он, — я просто не мог отказать, поэтому вернулся. Две недели спустя Эд привёл в квартиру какую-то женщину, и она с тех пор живёт там. Мне было больно видеть её среди твоих вещей, в атмосфере, которую ты создавала. Поэтому я снова уехал оттуда». Эд попросил Егора забрать мебель, книги и другие мои вещи, но тот не смог этого сделать: он был очень расстроен сложившейся ситуацией. «Быстро же Эд утешился», — подумала я. Почему бы и нет? Мне было интересно, что это была за женщина.

В письме Эда не было упоминания о новых отношениях. Он просто интересовался, что ему делать с моими вещами. Он писал, что планирует переехать поближе к верхней части города и не хочет брать с собой то, что всегда считал моим. Я телеграфировала ему, что мне не нужно ничего, кроме книг, и попросила упаковать их в коробку и отнести к Юстусу.

Письмо Эрика было составлено в обычной для него жизнерадостной манере. С нашими планами всё было хорошо. Он снял дом и собирался переехать туда со своей подругой К. Им предстояло трудное испытание, поскольку К. «готовилась к предстоящему концерту». Они уже взяли в аренду пианино, чтобы она могла репетировать, а он собирался заняться своим изобретением. Деньги, которые я ему оставила, покроют его с К. расходы на поездку в Питтсбург и позволят прожить ещё некоторое время. «Что касается нашего инженера Т., кажется, он страдает от чувства собственной значимости, но всё в порядке. Остальное узнаешь, когда мы встретимся в Париже, чтобы отпраздновать моё изобретение».

Меня позабавили формулировки, в которых Эрик зашифровал истинное послание. Но некоторые моменты всё же озадачили. Несомненно, К. — это Кинселла, его подруга, с которой я познакомилась в Чикаго. Но что, чёрт возьми, он имел в виду под концертом и пианино? Я знала, что у этой женщины хороший голос и что она профессиональная пианистка, но что она будет делать с этими талантами в доме, откуда будет копаться туннель? «Инженером», очевидно, был Тони. Видимо, он наконец объявился, и было понятно, что Эрику он не понравился. Я надеялась, что они найдут способ ладить до тех пор, пока не закончат проект. Я решила написать Эрику, чтобы он был очень, очень терпеливым.

Пока я была в Лондоне, я также выступила на немецком митинге, организованном товарищами из Autonomie Club (клуб «Автономия»). Во время дискуссии на меня напал с расспросами молодой немец. «Что Эмма Гольдман вообще может знать о жизни рабочих? — заявлял мой оппонент. — Она никогда не работала на фабрике, она, как другие агитаторы, просто наслаждается жизнью, путешествует повсюду и хорошо проводит время. Мы, пролетарии, мы, синие рубахи, мы одни имеем право говорить о страданиях масс». Было очевидно, что этот парень ничего не знал обо мне, но я не считала нужным просвещать его насчёт своей работы на фабриках и осведомлённости о жизни народа. Но меня заинтриговало упоминание им синей рубахи. Что бы это значило?

После митинга двое мужчин примерно моего возраста подошли ко мне. Они умоляли не возлагать ответственность за глупые нападки того юнца на всех товарищей. Они хорошо его знали; он ничего не делал в движении, кроме того, что хвастал своим пролетарским клеймом, синей рубахой. Они объяснили, что в начале развития движения немецкая интеллигенция начала носить синие рубахи рабочих частично в знак протеста против традиционной и формальной одежды, но главным образом, чтобы было проще взаимодействовать с массами. С тех пор некоторые шарлатаны в социальном движении используют эту манеру одеваться как знак своей приверженности строгим революционным принципам. «А также потому, что у них нет белой рубашки, — вставил угрюмый мужчина, — или потому что у них не получается часто мыть шею». Я посмеялась от всего сердца и спросила, почему он такой злопамятный. «Потому что я не терплю притворства!» — резко ответил мужчина. Эти двое представились Ипполитом Гавелом и Х.; первый был чехом, второй — немцем. Х. вскоре распрощался, а Гавел позвал меня вместе поужинать.

Мой спутник был небольшого роста и очень мрачный; большие глаза блестели на его бледном лице. Он был утончённо одет, на нём даже были перчатки, которые не носил ни один мужчина нашего круга. Мне показалось это франтоватым, особенно для революционера. В ресторане я заметила, что Гавел снял только одну перчатку, вторая

оставалась на руке весь вечер. Мне очень хотелось спросить, почему он так делает, но он казался таким застенчивым, что я решила не смущать его. После пары бокалов вина он стал бодрее и начал говорить нервными отрывистыми предложениями. Он сказал, что приехал в Лондон из Цюриха, и, хотя он недавно в городе, хорошо его знает и был бы рад мне его показать. Свободное время у него было только в воскресенье после обеда или поздно вечером.

Ипполит Гавел оказался ходячей энциклопедией. Он знал всех и вся в движении разных европейских стран. Я заметила печаль в его словах, когда он говорил о некоторых товарищах из клуба «Автономия». Мне это не понравилось, но в целом он был чрезвычайно забавным. Было уже поздно, и автобусы не ходили, поэтому Гавел остановил извозчика, чтобы отвезти меня домой. Когда я предложила заплатить за повозку, он возмутился. «Как американка, козыряешь своими деньгами! Я работаю, я могу сам заплатить!» — возмутился он. Я рискнула предположить, что для анархиста он был необычайно вежлив, чтобы протестовать против права женщины платить. Гавел улыбнулся впервые за весь вечер, и я не могла не заметить, что у него красивые белые зубы. Когда я пожала его руку, всё ещё скрытую под перчаткой, у него вырвался сдавленный стон. «Что такое?» — спросила я. «Ничего, — ответил он, — но для маленькой леди у тебя сильная хватка».

В этом мужчине было что-то странное и экзотичное. Он был очевидно очень нервным и к тому же мелочным в оценке людей. Но при том он был очаровательным, даже волнующим.

Мой чешский товарищ часто приходил ко мне, иногда с другом, но обычно один. Он был далеко не весёлой компанией, на самом деле он меня скорее угнетал. Если он не выпивал немного, было тяжело вывести его на разговор; временами казалось, что он лишился дара речи. Постепенно я узнала, что он пришёл в движение в возрасте восемнадцати лет и что несколько раз попадал в тюрьму, однажды сроком в полтора года. В последний раз его послали в психиатрический изолятор, где он мог бы остаться, если бы им не заинтересовался профессор Крафт-Эбинг, который объявил его здоровым и помог выйти на свободу. Он был активен в Вене, откуда его изгнали, после чего скитался по Германии, давая лекции и публикуясь в анархистских изданиях. Он съездил в Париж, но ему не позволили там долго оставаться и выгнали. В конце концов он поехал в Цюрих, а позже в Лондон. Поскольку у него не было профессии, ему приходилось заниматься любой работой. Сейчас он был подсобным рабочим в английском пансионе. Его день, в течение которого он разжигал огонь, чистил гостям сапоги, мыл посуду и делал другую «унизительную и постыдную работу», начинался в пять утра. «Но почему унизительную? Труд не бывает унизительным», — возразила я. «Труд, какой он есть сейчас, всегда унизителен! — категорически настаивал он. — В английском пансионе он ещё хуже; это насилие над всеми человеческими чувствами, не говоря уже о том, что это работа на износ. Посмотри на мои руки!» Нервным рывком он снял перчатку и бинты, что были под ней. Его рука, красная и опухшая, казалась одним большим волдырём. «Как это произошло и как ты можешь продолжать работать?» — спросила я. «Я заработал это, чистя грязную обувь на утреннем морозе и нося уголь и дрова, чтобы поддерживать огонь. Что ещё мне делать без профессии в чужой стране? Я могу умереть от голода, угодить в сточную канаву или закончить в Темзе, — добавил он. — Но я ещё не готов к этому. Кроме того, я лишь один из тысяч, зачем суесться по этому поводу? Давай поговорим о более приятных вещах». Он продолжил

диалог, но я едва слышала, что он говорит. Я взяла его бедную израненную руку, ощущая непреодолимое желание приложить её к губам с бесконечной нежностью и сочувствием.

Мы много гуляли вместе, посещая бедные кварталы, Уайтчепел и подобные районы. По будням улицы были усыпаны мусором, а запах жареной рыбы вызывал тошноту. Субботним вечером вид был ещё более ужасающим. Я уже видела пьяных женщин в Бауэри¹⁰⁵, это были исключённые обществом дамы, уже немолодые, с распущенными редкими волосами, в съехавших набок нелепых шляпах и в юбках, подметающих тротуар. «Бомеркес¹⁰⁶», — обзывали их еврейские дети. Я приходила в ярость, видя, как эти безрассудные юнцы дразнили и преследовали несчастных. Но по грубости и степени деградации это не шло ни в какое сравнение с зрелищем, которое я наблюдала в Ист-Энде в Лондоне: пьяные женщины, шатаясь, выходили из публичного дома, ругались отборным матом и дрались, буквально разрывая друг на друге одежду. Маленькие мальчики и девочки околачивались на холоде вокруг пивных, утопая в слякоти; младенцы в обветшалых колясках лежали в оцепенении после молока, щедро разбавленного виски; дети постарше стояли на шухере и жадно допивали пиво, которое иногда выносили их родители. Я слишком часто наблюдала такие картины, ещё ужаснее тех, которые мог бы задумать Данте. Всякий раз, полная гнева, отвращения и стыда, я обещала себе никогда не возвращаться в Ист-Энд, но неизбежно приходила туда снова. Когда я подняла эту тему с товарищами, они посчитали, что я просто переработала. Они утверждали, что такие условия присутствуют в любом большом городе; это и есть капитализм с вытекающими из него отвратительными последствиями. Почему тогда меня больше волнует Лондон, чем другой город?

Постепенно я начала осознавать, что удовольствие, которое я получала от компании Гавела, происходило не просто от духа товарищества. Любовь снова заявляла о себе, с каждым днём всё более настойчиво. Я боялась её, боялась новой боли, новых разочарований в будущем. И всё же потребность в ней среди окружающего убожества была сильнее моих опасений. Гавелу я тоже была небезразлична. Он стал более робким, беспокойным и суевливым. Он обычно приходил ко мне один, но однажды взял с собой друга, который сидел очень долго и всё не собирался уходить. Я предположила, что Гавел привёл его, потому что не доверял себе, оставаясь наедине со мной, и это только усилило моё желание. Наконец далеко за полночь друг ушёл. Не успел он выйти, как мы оказались, сами не понимая как, в объятиях друг друга. Лондон отступил, крики Ист-Энда были далеко. Лишь зов любви звучал в наших сердцах, мы слышали его и поддавались ему.

С новой радостью в жизни я будто переродилась. Мы решили, что поедem вместе в Париж, а потом в Швейцарию. Ипполит тоже хотел учиться, и мы планировали жить очень скромно на тридцать долларов в месяц, поскольку десять из моих сорока я отправляла брату. Ипполит считал, что сможет немного заработать статьями, но мы были готовы, если придётся, отказаться от некоторых удобств. Ведь у нас были мы и наша любовь. Но сначала нужно было уговорить Ипполита оставить его ужасную работу. Я хотела, чтобы он месяц отдохнул от мясорубки в пансионе. Понадобились весомые аргументы, чтобы его убедить, но две недели без чистки грязных сапог так подняли ему настроение, что он казался другим человеком.

Однажды после обеда мы зашли к Кропоткиным. Ипполит был большим поклонником Genossenschafts-Bewegung — немецкого кооперативного движения, которое, по его мнению, было более развитым, чем британское. Вскоре между ним и Петром завязалась горячая дискуссия: последний не видел особых заслуг немецкого эксперимента. Я давно заметила, что Ипполит не может сдерживать себя в спорах. Он становился раздражительным и часто переходил на личности. Он пытался избежать этого с Петром, но постепенно дискуссия стала выходить из-под его контроля, тогда он внезапно прервался, и воцарилось тягостное молчание. Кропоткин был неприятно удивлён, и я, сославшись на предстоящие дела, поспешила уйти. На улице Ипполит начал оскорблять Петра, обзывая его «попом анархистского движения», который не терпит другого мнения. Я возмутилась, и мы обменялись обидными словами. Добравшись до моей комнаты, мы поняли, как инфантильно было позволять нашим темпераментам омрачать недавно родившуюся любовь.

В сопровождении Ипполита я пошла на русскую новогоднюю вечеринку, которая оказалась прекрасным событием. Там я повстречала выдающихся личностей из русской диаспоры, среди которых были Лазарь Гольденберг, с которым я работала в Нью-Йорке во время кампании против русско-американского соглашения об экстрадиции; Эспер Серебряков¹⁰⁷, хорошо известный своей революционной деятельностью; Варлаам Черкезов¹⁰⁸, выдающийся теоретик анархизма, а также Чайковский и Кропоткин. Почти у всех присутствующих был героический послужной список, а также годы тюрьмы и жизни в изгнании. Присутствовал также Михаил Гамбург¹⁰⁹ с сыновьями Марком, Борисом и Яном, которые уже тогда были обещающими музыкантами.

Эта вечеринка была куда более размеренной, чем подобные сборища в Нью-Йорке. Обсуждались серьёзные проблемы, и только совсем молодые люди танцевали. Позже Пётр развлёк нас, сыграв на пианино, пока Черкезов кружил двенадцатилетнюю Сашу Кропоткину по залу, тогда их примеру последовали остальные. Чайковский, возвышаясь надо мной, комично поклонился, приглашая меня потанцевать. Это был незабываемый вечер.

В Глазго, моей первой остановке в туре по Шотландии, митинги организовывал мой хороший товарищ Блэр Смит, у которого я остановилась. Все были очень добры и дружелюбны, но сам город оказался кошмаром, в некоторых отношениях ещё хуже Лондона. Субботним вечером, пока ехала в трамвае домой, я насчитала семь детей, грязных и недоедающих, которые, шатаясь, шли рядом с матерями — все они находились под действием алкоголя.

Эдинбург был просто наслаждением после Глазго — просторный, чистый и привлекательный, бедность в нём была не так заметна. Именно там я впервые встретила Тома Белла, о чьём пропагандистском рвении и смелости мы были наслышаны в Америке. Среди его подвигов был эксперимент со свободой слова, который он провёл в Париже. Он уговаривал французских анархистов сделать сцену для выступлений под открытым небом, на английский манер, но парижские товарищи считали такую попытку невозможной. Том решил показать, что ему удастся выступить на улице, невзирая на полицию.

Он распространил объявления о том, что в следующее воскресенье он под свою ответственность проведёт открытый митинг на площади Республики, в одном из шумных

людных центров Парижа. Когда в назначенное время он пришёл на площадь, там уже ожидала огромная толпа. Пока он пробирался к центру площади, к нему приблизились несколько полицейских агентов. Неуверенные, является ли он заявленным оратором, они на мгновение замешкались. Том подыскал себе фонарный столб с большой декоративной опорой до середины и поперечной перекладиной наверху. Как только полиция к нему подступила, он запрыгнул на столб. Ногами он крепко стоял на опоре, а через секунду приковал руку к перекладине. Он надёжно закрепил сильную цепь замком вокруг запястья, быстро захлестнул два конца вокруг перекладины и пристегнул ещё одним замком, который закрылся автоматически. Полицейские сразу же бросились к нему, но ничего не могли поделать — мужчина был надёжно прикован. Они послали за напильником. Толпа росла, и Том начал беззаботный разговор с ней. Офицеры были в ярости, но он продолжал речь, пока не потерял голос. Потом он вытащил ключ, открыл замок и спокойно слез вниз. Полицейские угрожали ему страшными вещами «за оскорбление армии и закона», но весь Париж смеялся над ними. Власти решили, что лучше не раздувать это дело, и Тома не преследовали. После двух недель в тюрьме его выслали как «слишком опасного человека, которого нельзя освобождать во Франции».

Другой подвиг Тома Белла произошёл по случаю приезда царя Николая II в Англию. Королева была в то время в Балморале¹¹⁰. Королевский план предусматривал, что царь высадится в Лите, где его встретит принц Уэльский (в будущем король Эдвард VII), а дальше он должен был поехать в Виндзор и Лондон.

Том Белл договорился со своим другом помочь в приёме царя. У Мак-Кейба была изувеченная рука, но он был таким же бойким, как и Том. Вместе они составили план действий. В тот момент они находились в Эдинбурге и, когда доехали до Литы, увидели огромное количество полиции на пристани, включая британских, русских и французских секретных агентов. Улицы были забаррикадированы, и вдоль них стояли солдаты и бобби, повсюду рыскали сыщики. За баррикадой стоял ряд солдат шотландского полка, за ними — солдаты территориальной армии, а этих в свою очередь поддерживала пехота. Ситуация выглядела безнадежно — не было шансов провести акцию. Том Белл и Мак-Кейб решили разделить; как говорил впоследствии Том: «Каждый знал, что другой совершит что-то безбашенное». Он услышал слабые восклицания школьников, когда мимо проходили люди в красивой униформе. Потом поехали кареты. Царя узнать было очень легко. Том разглядел, что русский деспот сидит на заднем сиденье, а принц Уэльский — напротив. Казалось, ничего нельзя сделать до последнего момента, и то возможность появилась именно в этот момент, упускать его было непростительно. Охранники были настороже и внимательно караулили до тех пор, пока карета царя не поравнялась с ними. Том молниеносно нырнул между стражниками, под баррикаду, и, подбежав к карете, крикнул в лицо царя: «Долой русского тирана! Долой все империи!» И в этот момент он понял, что рядом с ним стоит его друг Мак, который тоже пробрался к карете и тоже выкрикивает похожие лозунги.

Британские власти не посмели предать Белла и Мак-Кейба шотландскому суду присяжных. Вероятнее всего, они не захотели, чтобы дело получило большую огласку. Ни слова не появилось в газетах об этом происшествии. «Царь казался бледным», — писали они. Несомненно. Он сократил свой визит, уехав домой не через Лит и не через другой шотландский порт, а через непонятную рыбацкую деревню, откуда его вывезли на яхту в

лодке.

Естественно, мне не терпелось познакомиться с этим рискован товарищем. Оказалось, что он живёт с сестрой Джона Тернера Лиззи, милой девушкой, которую я встретила в Лондоне в 1895 году. Том был очень болен, страдал от астмы, но всё равно обращал на себя внимание — высокий, с рыжими волосами и бородой, как раз из тех, кто способен на неожиданные представления.

Я уехала из Англии в Париж вместе с Ипполитом. Мы прибыли в город дождливым январским утром и остановились в отеле на бульваре Сен-Мишель. Четыре года тому назад, в 1896 году, я заезжала сюда по дороге из Вены. Тогда я была сильно разочарована. Люди, у которых я в тот раз остановилась, немецкие анархисты, жили в пригороде, усердно работали днём и слишком уставали, чтобы куда-то идти вечером, а моего французского было недостаточно, чтобы гулять одной. В единственное свободное воскресенье друзья отвезли меня в Булонский лес. Кроме этого я почти не видела Парижа, который мне так хотелось исследовать, но я пообещала себе, что однажды вернусь, чтобы насладиться прелестью этого замечательного города.

Теперь наконец мне выпала такая возможность, ещё более прекрасная из-за появления новой любви в моей жизни. Ипполит уже бывал в Париже и знал его красоты; он был превосходным спутником. Целый месяц мы были полностью поглощены чудесами города и друг другом. У каждой улицы, почти у каждого камня была революционная история, у каждого района — героическая легенда. Красота Парижа, его беззаботная молодость, его жажда радости и непостоянность настроения захватили нас. Стена коммунаров на Пер-Лашез навевала воспоминания о высоких надеждах и горьком разочаровании последних дней Коммуны. Здесь повстанцы оказали своё финальное героическое сопротивление, чтобы в конце концов быть убитыми по приказу Тьера и Галифе. Площадь Бастилии, ставшая однажды страшной могилой погребённых заживо, которую сравнивала с землёй накопившаяся ярость парижского народа, рассказывала нам о невыразимой боли и страданиях, о возрождённой надежде в дни великой революции, история которой так сильно повлияла на наши жизни.

Наши заботы и переживания забылись в этом мире красоты, в памятниках архитектуры и искусства, созданных гением человека. Дни проходили как во сне, и не хотелось просыпаться. Но у меня была важная причина посетить Париж — настало время готовиться к нашему съезду.

Франция была колыбелью анархизма; долгое время его здесь взращивали её лучшие сыны, величайшим из которых был Прудон. Битва за их идеал была напряжённой, влекла за собой преследование, тюремное заключение и зачастую даже принесение в жертву своей жизни. Но всё это было не напрасно. Благодаря им анархизм и его представители стали во Франции социальной силой, с которой необходимо считаться. Несомненно, французская буржуазия продолжала страшиться анархизма и преследовать его посредством государственной машины. У меня была возможность наблюдать жестокость, с которой французская полиция обращалась с радикально настроенной толпой, а также процедуры во французских судах при рассмотрении дел нарушителей общественного порядка. Тем не менее существовала

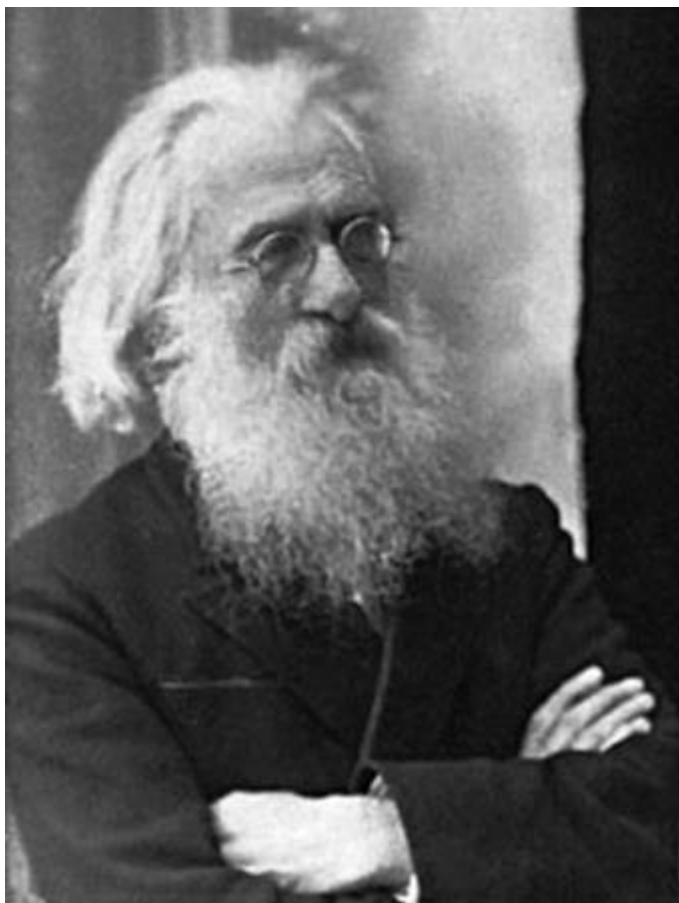
большая разница между подходом и методами, которые использовали французы и американцы при обращении с анархистами. Это были два разных народа: один закалён в революционных традициях, а другой едва коснулся борьбы за независимость. Эта разница была заметна во всём, и что поразительно — в самом анархическом движении. В нескольких группах я не встретила ни одного товарища, который использовал бы высокопарный термин «философский», чтобы замаскировать свой анархизм, как это делали многие в Америке, считая, что это более достойно уважения.

Вскоре нас унесло волной разной деятельности, которая бурлила в анархистских кругах. Революционно-синдикалистское движение, получившее толчок благодаря изобретательному уму Пеллутье, было пропитано анархистскими тенденциями. Почти все наиболее активные мужчины этой организации открыто позиционировали себя как анархисты. Новый образовательный проект, известный как Народный университет, существовал при помощи почти исключительно анархистов. Им удалось заручиться поддержкой и сотрудничеством академиков во всех областях знаний; организовывались народные лекции на разные научные темы перед большими классами рабочих. Об искусстве тоже не забывали. Книги Золя, Ришпена, Мирбо, Брие и прекрасные пьесы, которые ставились в «Театре Антуана», читались и читались анархистами наравне с работами Кропоткина, а произведения Менье, Родена, Стейнлена и Гранжуана обсуждались и ценились в революционных кругах больше, чем буржуазными элементами, которые претендовали на звание покровителей искусства. Меня очень вдохновляли визиты к анархистским группам, наблюдение за их деятельностью и подъёмом наших идей на французской земле.

Моё изучение движения, однако, не ослабляло личного интереса к людям, который всегда был во мне сильнее всех теорий. У Ипполита всё было наоборот: ему не нравилось встречаться с людьми, и он был застенчив в их присутствии. Через короткое время я знала почти всех ярких личностей в нашем движении во Франции, а также тех, кто был связан с нашей общественной работой в Париже. Среди последних был кружок L'Humanité Nouvelle («Новое человечество»), который издавал одноимённый журнал. Его талантливый редактор, Огюст Амон, автор «Психологии военных», а также авторы статей принадлежали к группе молодых художников и писателей, тонко чувствующих своё время и его потребности.

Из всех людей, с которыми я познакомилась, больше всего меня впечатлил Виктор Дав. Он был опытным товарищем, который уже сорок лет участвовал в анархистской деятельности в разных европейских странах. Он был членом первого Интернационала, коллегой Михаила Бакунина и учителем Иоганна Моста. Путь учёного он начал, став студентом истории и философии, но позже решил посвятить себя социальному идеалу. Я многое узнала о жизни Дава от Иоганна Моста, который им сильно восторгался. Я также знала о роли, которую тот сыграл в событиях, приведших к обвинениям Пойкерта в связи с арестом и заключением Джона Неве. Дав был уверен в вине Пойкерта, хотя в нём не было ни следа личной ненависти. Он был добрый и общительный. Хотя ему было уже шестьдесят, он был молод духом и мыслил так же свежо, как в студенческие годы. Заполняя нищенское существование написанием статей для анархистских и других изданий, он сохранил жизнерадостность и характер юнца. Я много времени проводила с ним и его спутницей жизни, Мари, которая была инвалидом уже много лет, но всё ещё интересовалась общественными делами. Виктор был прекрасным лингвистом, и поэтому его помощь в

подготовке материала, который я привезла для съезда, и в переводе на другие языки, была неоценима.



Виктор Дав

Самым замечательным в Викторе Даве было его врождённое умение и желание наслаждаться жизнью. Он был самым свободным и весёлым товарищем, которого я встретила в Париже, и зачастую — моим спутником после того, как моё хорошее настроение было испорчено приступами сильной депрессии у Ипполита. С самого начала он невзлюбил Виктора. Он отказывался ходить с нами на прогулки и в то же время сварливо возмущался, когда я шла без него. Обыкновенно его чувство выражалось в немом упрёке, но после небольшого количества алкоголя он принимался оскорблять Виктора. Сначала я равнодушно относилась к его взрывам, но постепенно они начали влиять на меня, мне становилось не по себе, когда я была не с ним. Я любила этого парня; я знала, что его несчастное прошлое оставило раны в его душе, и они сделали его болезненно робким и подозрительным. Я хотела помочь ему лучше понять себя и проще относиться к другим. Я надеялась, что моя любовь ослабит его озлобленность. Трезвый он сожалел о нападках на Виктора, и в такие моменты становился невероятно нежным и нуждающимся в нашей любви. Это заставляло меня надеяться, что он перерастёт своё желчное настроение. Но сцены повторялись, и мои опасения возрастали.

Со временем я осознала, что неприязнь Ипполит испытывал не только к Виктору, но и к любому знакомому мужчине. На выставку в Париж приехали двое итальянцев, с которыми я работала в защиту свободы на Кубе, а также во время забастовки в Саммите. Они пришли со мной повидаться и пригласили на ужин. По возвращении я застала Ипполита в ярости, он негодовал. Какое-то время спустя мой хороший друг Паллавичини приехал со своей женой и

ребёнком. Ипполит сразу же начал сочинять невероятные истории об этом человеке. Жизнь с Ипполитом становилась более тревожной, но я пока не думала о расставании.

Версия #1

██████████ ██████████ создал 17 апреля 2025 03:54:26

██████████ ██████████ обновил 17 апреля 2025 03:55:24